



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Проект письма к С. С. Уварову

Милостивый государь Сергей Семенович.

Вступив в управление Министерством просвещения, Ваше Превосходительство сказали, что «народное образование должно совершаться в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности»¹.

Нелегко определить, до какой степени удобно общее сие применение ко всем отраслям наук, но, по крайней мере, в учении истории отечественной правило сие имеет ясный, полный смысл и совершенно соответствующий духу нашего правительства. Наша история есть вывод, следствие, плод этих трех начал. Известно, что слова, произнесенные от имени правительства, должны быть не только обещанием, но и обязательством. Не действуя прямо и постоянно в коренном смысле исповедуемых начал, правительство потрясает в управляемых веру к словам своим. Действуя в противность своим правилам, правительство порождает в обществе несогласие, сбивчивость в понятиях, нравственное и вслед за тем политическое расстройство, которое тем труднее ему исправить и искоренить, что оно само без ведома, или без сознания своего, начало и корень сего расстройства. В противоречиях правительства с самим собою заключается величайшее зло.

С откровенностью, достойною важности предмета, к коему приступить хочу, и с добросовестностью твердого убеждения осмеливаюсь просить вас, милостивый государь, уделить мне несколько минут внимания на применение вышеизложенной истины к явлениям, ежедневно совершающимся в глазах наших. Позвольте сказать, что именно в действиях подлежащего управлению вашему ведомства встречаются решительные примеры упомянутого противоречия правительства с самим собою. Привожу доказательства тому.

Одна и есть у нас книга, в которой начала православия, самодержавия и народности облечены в положительную действительность, освященную силою исторических преданий и силою высокого таланта. Не нужно мне именовать ее. Вы, без сомнения, сами упредили меня и назвали ее. Здесь ни разномыслия, ни разноречия быть не может. Творение Карамзина есть единственная у нас книга истинно государственная, народная и монархическая. Не говорю о литературном или художественном достоинстве ее, ибо в этом отношении может быть различие в мнениях, но в другом оно быть не может, ибо с очевидностью вместе с вами, вместе с всеми, вместе с очевидностью: она одна. А между тем книга сия, которая естественно осуществляет в себе тройственное начало, принятое девизом вашего министерства, служит, по неизъяснимому противоречию, постоянной целью обвинений и ругательств, устремленных на нее с учебных кафедр и из журналов, пропускаемых цензурою, цензурою столь зоркою в уловлении слов и в гадательном приискании потаенных и мнимых смыслов и столь недальновидною, когда истина, так сказать, колет глаза. Нельзя при этом не пожалеть о худом выборе цензоров, которые, с одной стороны, раздражают писателей придирчивыми стеснениями и часто нелепостью своих толкований, а с другой — наносят общей пользе вред непростительною оплошностью. В лицах, облеченных доверенностью власти, кто неспособен, тот уже вреден. Ошибочный выбор людей есть также род противоречия правительства с самим собою, который никогда не остается без пагубных последствий. Действия нашей цензуры в отношении к критикам на «Историю Российского государства» служат тому лучшим доказательством. Дабы вернее определить меру несообразностей и вреда, которую влечет за собою подобное направление допущенной ныне критики, обратимся к эпохе появления в свет «Истории государства Российского» и к некоторым уже минувшим обстоятельствам.

Появление сей книги в 1818 году было истинно народным торжеством и семейным праздником для России. Россия, долго не знавшая славного родословия своего, в первый раз из книги сей узнала о себе, ознакомилась с стариною своею, с своими предками, получила книгою сею свою народную грамоту, освященную подвигами, жертвами, родною кровью, пролитую за независимость и достоинство имени своего. Вы помните это торжество и с просвещенною любовью разделяли его вместе с другими. Но оно не могло быть общим. «История государства Российского» встретила противников. Часть молодежи нашей,

увлеченная вольнодумством, политическим суемудрием современным и легкомыслием, свойственным возрасту своему, замышляла в то время несбыточное преобразование России. С чутьем верным и пронизательным, она тотчас оценила важность книги, которая была событие, и событие, совершенно противодействующее замыслам ее. Книга Карамзина есть непреложное и сильное свидетельство в пользу России, какового соделало ее Провидение, столетия, люди, события и система правления; а они хотели на развалинах сей России воздвигнуть новую, по образу и подобию своих мечтаний. Медлить было нечего. Колкие отзывы, эпиграммы, критические замечания, предосудительные заключения посыпались на книгу и на автора из среды потаенного судилища. Судии не могли простить Карамзину, что он историограф, следовательно, по словам их, наемник власти; что он монархический писатель — следовательно, запоздалый, *не постигающий духа и потребностей времени* (фразеология тогдашняя, которая и ныне в употреблении); они толковали, что Карамзин сбивается в значении слов, что он *единодержавие* смешивает с *самодержавием* и вследствие того ложно приписывает возрастающую силу России началу самодержавия, и проч. и проч. Все сии обвинения в смысле судей были основательны и рациональны. Им не хотелось самодержавия; как же им было не подкапываться под творение писателя, который чистым убеждением совести, глубоким соображением отечественных событий и могуществом красноречия доказывал, что мудрое самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию².

Вспомните еще, что Карамзин писал тогда историю не совершенно в духе Государя, что, по странной перемене в ролях, писатель был в некоторой оппозиции с правительством, являясь проповедником самодержавия в то время, когда правительство в известной речи при открытии первого Польского сейма в Варшаве³, так сказать, отрекалось от своего самодержавия. Соображая все сии обстоятельства, легко постигнуть, как досаден был Кармазин сим молодым умам, алкавшим преобразований и политического переворота. Они признали в писателе личного врага себе и действовали против него неприятельски.

Самый IX том, в котором Карамзин с откровенным негодованием благородной души живописал яркими красками тиранию *ослепленного царя**⁴, самый сей том должен был усилить к нему вражду противников мнения его. Замечательно, что, не ослабе-

* «Мучителя» (заметка Пушкина).

вая в изображении ужасных событий, не утаивая ни одного преступления державной власти и, так сказать, утомясь рукою и сокрушенным духом в исчислении бесконечных сих преступлений, Карамзин ни на минуту не сомневается в святости мнения своего, ни на минуту не изменяет ему. Он остается верен началу самодержавия, хотя, как историк, не щадит самодержца пред неизбежным зеркалом потомства. Умиляясь над жертвами, он жалостью своею не увлекается в противоречие себе: в долготрепении их видит он народную добродетель и торжество государственной необходимости. Вера его в Провидение служит ему здесь утешением и руководителем в решении политической задачи. Дальновиднее в этом случае тех поверхностных и односторонних судей, которые видят в IX томе Карамзина соблазнительную откровенность, противники самодержавия увидели в этом томе торжество убеждений писателя, верного себе и мнению своему. И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критикой вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть «Историю государства Российского», хотя, конечно, участвующие в нем тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде его*.

Изустная и политическая оппозиция труду Карамзина перешла скоро в оппозицию журнальную и по наружному виду литературную, хотя и тут литература была только вывеской. В русском журнале явился польский писатель Лелевель. Под формами беспристрастия, вежливости и учености начал он наносить удары книге Карамзина. Мнения и дух писателя сего, раскрывшиеся после, во дни польского мятежа, позволяют нам заключить, без обиды чести его, что, вероятно, не любовь к России и к пользе просвещения нашего побудила его подвизаться на поприще критика⁵. Позже два других журнала более прочих сделались отголосками ожесточенных приговоров «Истории государства Российского». Они оба впоследствии времени запрещены были правительством по причине направления своего, несообразного с существующим порядком, и по суемыслию и вредному пустословию содержащихся в них статей. «Телеграф» и «Телескоп» истожили в оскорблениях памяти Карамзина и труда его все, что могла изобрести ожесточенная ненависть, и гораздо более того, что должна была допустить цензура, знающая свои обязанности и постигающая дух своего правительства. Выберем один пример из тысячи: «Карамзина

* Место со слов: «И самое 14 декабря» Пушкин очертил и написал против него: «Не лишнее ли?»

теперь читают мало, со скукой; его история дурна именно там, где он хотел щеголять слогом. Отчего же это? Оттого, что Карамзин не был истинен, верен самому себе; оттого, что он часто притворялся, оттого, что его слезы часто были слезы театральные, его одушевление — сценическая декламация». Боже сохрани меня в подобных указаниях на лица и действия их искать политической, положительной связи с печальными событиями, омрачившими страницу нашей современной истории. Я не заражен болезнью мнительности политической. Многие ищут всегда обдуманное злоумышление в явлениях, непостижимых для здравого суждения и отступающих от общего порядка; я обыкновенно из 20 подобных примеров отдаю одну долю на неблагонамеренность, а 19 на безрассудность и упоение самолюбия. И моя выкладка кажется вернее. Но не менее того из несообразностей частных, положим совершенно невинных в побуждении своем, может впоследствии произойти общий вред. На случай этой возможности правительство именно и облечено силою и средствами для заблаговременного противодействия злу. Иначе, если оно оплошает в предусмотрительности своей, то ответственность за содеянное зло падает на него гораздо более, нежели на тех, которые в проступке своем могли быть увлечены предубеждениями своими, самонадеянностью и даже потворством и безмолвным одобрением заведующей власти.

В сем отношении действия подведомственной вам цензуры находятся в явном противоречии с правилами, провозглашенными вами, и с духом нашего правительства. Но не в одних журналах разлилась прилипчивая зараза сей критики, вовсе не литературной по влиянию и последствиям своим. Те же нарекания, те же обвинения раздались и в учебном ведомстве. Кажется, что принято за правило ослабить, охладить любовь учащегося поколения к учению отечественной истории, ибо, порождая не только сомнения в достоинстве единой нашей исторической книги, но и внушая совершенное к ней пренебрежение, убивали не одну книгу, но и самую историю нашу. Мы далее увидим доказательства тому. Дух сомнения, дух отрицания овладел умами преподавателей. Какой-то исторический протестантизм силится осушить источники наших верований и преданий, не раскрывая, впрочем, новых для жажды нашей веры и народной любознательности. Мелочная критика, ничтожные изыскания, нелепая фразеология *высших взглядов, потребностей и духа времени* искажают нашу историю. Университеты начали требовать какой-то *подвижной истории*, то есть хотят перекраивать ее, смотря по изменениям господствующего обра-

за мыслей и страстей современного поколения. Исторический скептицизм переходит к современному *нигилизму*. «Нестор»⁶ доньше был краеугольным камнем нашего исторического здания. Камень сей низвергают, и посягатель на сию святыню удостоивается награды золотой медалью в торжественном собрании Императорского университета. Но это мне возразят, что дело Министерства просвещения поощрять ученые изыскания и смелые попытки в области наук. Согласен! Но не дело правительства награждать те изыскания, которые могут служить к ослаблению государственных и исторических начал народа. Не говорю уже о том, что изыскания сии сами по себе сомнительны и парадоксальны, что побудительная сила их часто заключается в одном тщеславии и в одной оппозиции к *предлежащим властям*, хотя и не политическим, а пока умственным и литературным. Наука наукою, но есть истины, или священные условия, которые выше науки. Фонтенель говорил, что если все истины были бы у него в горсти, то он не разжал бы руки своей. Каждому народу нужно иметь свою писанную историю и свое писанное законодательство. Будь и то и другое несовершенно, все равно: пока нет лучшего, не нарушайте уважения к тому, что есть. Правительство должно покровительствовать одну *зиждательную* или *охранительную* силу, а в новой исторической школе нашей нет ничего зиждительного. Смело вопрошаю совесть вашу и просвещение ваше: чего ожидает Россия от новых исторических корифеев? Они искоренят с исторической почвы нашей труды Шлецера и Карамзина. Верю! Но в состоянии ли они заменить их? Эта новая школа походит на известную во Франции *черную шайку*, которая скупала на лом древние замки и памятники. Дело ли правительства давать премии за подобные разорения? И в сем отношении действия подведомственных вам мест совершенно противоречат духу и пользам нашего государственного порядка. Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый Министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в «Телескопе». Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике⁷. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь русской истории! Не верьте ей! Ибо нельзя учиться по белой бумаге и по

пустому месту. Письмо Чаадаева — не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения русской истории. Обыкновенно лица и правительства при явлении неожиданных и неприятных для них событий ищут им внешние и независимые от них причины. Никому не хочется внутреннею исповедью доискаться тайной связи между началами, в нас сокрытыми, и дальнейшими результатами, истекающими уже не только вне, но часто вопреки воле нашей. Для достижения истины должно следовать совершенно противному порядку. Можно сказать решительно, что, за исключением редких случаев, каждая неудача наша заключается в собственной нашей вине и каждый общественный беспорядок имеет зародыш свой в ошибках той или другой власти. Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против «Истории государства Российского» и самого Карамзина, обратите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву.

Все сии мысли, с откровенностью изложенные пред вами, давно таились во мне и разделяются многими у нас благомыслящими людьми. Но побуждением к излианию их ныне послужило новое отступление от начал, вписанных на скрижали вашего министерства; скажу более: новый соблазн, облеченный и освященный законною силою посредством С.-Петербургского университета. Можно было надеяться, что появление письма в «Телескопе» указало, хотя и несколько поздно, опасную цель, к которой ведет путь, проложенный новейшею нашею историческою критикою. Но г. Устрялов доказал, что эта надежда была неосновательна. Рассуждение, напечатанное им, уже не журнальная беглая статья: оно написано для получения степени доктора философии⁸. И в чем же заключается оно? В необдуманном, сбивчивом повторении пустословных обвинений «Телеграфа», «Телескопа» с братиею! Историческая критика не подвинулась в нем ни на шаг, не положила основания ни одной новой истине, но перебрала с любовью груды обломков, нагроможденных *черною шайкою* наших исторических *ломщиков*, и, любуясь ими, в заключение провозгласила: *нет у нас истории!* Или, другими словами: юноши, отложите попечение изучать историю народа своего, проникнуть себя любовью к настояще-

му, воспитав ее любовью к прошедшему! Творение, по которому могли бы вы учиться истории вашей, *многим, даже невзыскательным, читателям стало казаться неудовлетворительным* — говорят, что при всей красоте повествования оно наполняет ум какими-то несвязными картинками, часто образами без лиц, еще более неправильными очерками, одним словом, все говорят в один голос, что Россия еще не имеет своей истории⁹ (пока, подразумевается само собою, мы, переводчики Маржерета и издатели Курбского, не решимся пожаловать вас оною)¹⁰.

Не станем разбирать удивительное crescendo наглости и нелепости всех этих выражений, в коих автор не умел даже сохранить логический порядок мыслей. Он, например, ссылается для подкрепления мнения своего на авторитет *невзыскательных читателей*, следовательно, неспособных судить о достоинстве творения. Далее, признает *красоту* повествования и говорит, что оно наполняет ум какими-то несвязными картинками, образами без лиц, и проч. В чем же может заключаться красота повествований, если не в ясности и связи соображений и в верности передачи их другим? Какое отсутствие здравого смысла в докторе философии! Но все это литературные замечания, и я не стану ими обременять вас, готовясь написать для печати возражения на статью г-на Устрялова. Здесь хочу обратить внимание на важнейшие несообразности.

Во-первых, мысли г. Устрялова сбиваются на ту же теорию, которая, проповедуемая историческою оппозициею нашею, получила наконец практическое применение в известном письме «Телескопа». Оба мнения подкрепляют друг друга и сливаются вместе. Одно различие в том, что в журнальном письме более безумия и таланта, а в университетском рассуждении более нелепости и менее искусства. Я вполне уверен, что г. Устрялов во многом, а может быть, даже и во всем, по совести и убеждению совершенно противоположен мнениям, изложенным в помянутом письме. Я готов согласиться, что даже, чего доброго, имел он благое намерение рассуждением своим косвенно возразить «Телескопу». Но Вашему Превосходительству известна испанская пословица: что ад вымощен благими намерениями. Праведники те, которые умеют привести их в исполнение. А то лучшие побуждения души могут иметь, по неспособности головы, самые пагубные последствия.

Во-вторых, профессор Императорского университета пишет рассуждение на степень доктора философии и Императорский университет одобряет сие рассуждение. В нем, между прочим,

сказано: «Все говорят в один голос, что Россия еще не имеет своей истории». Позвольте мне заметить здесь, что г. профессор и Императорский университет при общем заключении в один голос должны были, во всяком случае, вспомнить об одном исключении, а именно о голосе Государя, который торжественно пред Россиею сказал Карамзину: «Александр сказал вам: *“Русский народ достоин знать свою Историю. История, вами написанная, достойна русского народа”*».

Теперь: позволит ли цензура, а что еще важнее, должна ли она позволить частному человеку печатно порицать выбор, сделанный самим Государем, хотя на низшее место администрации? Разумеется, нет! А здесь Императорский университет решительным приговором опровергает мнение Государя в деле, для общей пользы гораздо важнейшем, нежели определение какого-нибудь чиновника.

И после подобных несообразностей в сфере действий самого правительства будут искать в области мнимых догадок или в тайниках неблагонамеренных обществ зародыши возмутительных понятий или ослабления уважения к законной власти и к существующему порядку, если они изредка кое-где и пробиваются к жизни общественной. Но зачем головоломно искать эти зародыши за тридевять земель, когда они у нас под рукою, когда они гласно и торжественно с университетских кафедр посеваются в уме молодежи, всегда жадной к приятию всего, что носит на себе отпечаток оппозиции! На развешенном знамени министерства вашего изображено охранительное правило. Так! но под сенью знамени сего не совершаются ли действия, ему противные? Анархия в понятиях ведет к анархии в действиях*.

Хотя и не намерен я входить здесь в разбор рассуждений г. Устрялова, но не скрою от вас еще одного прискорбного впечатления, которое оно оставляет на уме здравомыслящем. В учении, истекающем из высших учебных казенных мест, заключается залог просвещения и, следовательно, будущего благосостояния отечества, особенно ныне, когда учащемуся поколению загражден путь к иностранным университетам. Но можно ли ожидать от наших учебных мест удовлетворительного действия на народное образование, если ничтожная брошюра г. Устрялова может быть признана университетом за удовле-

* Против места от слов: «И после подобных несообразностей» до слов: «к анархии в действиях» Пушкин заметил: «Не лишнее ли, т. е. не повторение ли?».

творительное право на степень учености? Исполненная противоречий, необдуманностей, ибо каждая похвала истории Карамзина имеет тут же готовое параллельное порицание, каждое положение автора — собственное его отречение, брошюра сия — не что иное, как незрелый плод опрометчивого ученика. Незрелость г. Устрялова обнаружилась еще более на диспуте, открытом вследствие рассуждения его. Диспут сей был общим посмешищем для всех присутствующих. Несостоятельный диспутант не мог поддержать ни одного положения своего, не умел, хотя <бы уловками блестящих парадоксов, избежать ни одного удара, на него нанесенного орудиями, взятыми из собственного его арсенала.

К стыду классического учения, коего университет должен быть стражем, г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого*: стройное творение одного и хаотический недоносек другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение свое оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что поистине не знаешь, кому из двух отдает он преимущество!

После подобного соблазна, какую доверенность могут иметь благомыслящие родители к университетскому преподаванию! С каким чувством будут они посылать сыновей учиться русской истории в университет, в котором г. Устрялов занимает кафедру русской истории!

Что за нить, за сцепление несообразностей и противоречий правительства в благих намерениях его и в противодействующем исполнении оных. Мысль унывает при таком прискорбном зрелище!

В заключение считаю не излишним объяснить истинное побуждение, которое понудило меня войти перед вами в вышеизложенные рассуждения. По чувству почти сыновней признательности и преданности, привязывающему меня к памяти Карамзина, можно было бы предположить, что здесь говорило одно сие чувство, оскорбленное в любви и уважении своем. Но вы знали Карамзина так же хорошо и не остановитесь на этом предположении. И при жизни своей был он всегда чужд и выше притязаний недоброжелательства на спокойное его самолюбие:

* Против этого места Пушкин заметил: «О Полевом не худо было напомнить и пространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, — не говорю уже о плутовстве подписки, что уже касается управы благочиния, а не Академии наук».

сам он никогда за себя не вступался и запрещал ближним своим вступаться за него. Ныне, за гробом, он еще менее нуждается в суетных удовлетворениях. Нет, худо понял бы я Карамзина, худо оценил бы характер его и пример, им завещанный, если вступал бы здесь в спор за личность и за имя, и без друзей его вписанное на скрижалях отечественной славы. Побуждением моим в этом случае были другие чувства, а именно: твердое убеждение в важности и справедливости моих указаний, откровенность, мне свойственная, и надежда, что слова мои могут обратить на себя внимание Вашего Превосходительства и не останутся совершенно бесплодными для общей пользы.

